ZaitsEva

Кровь на кружеве

ZaitsEva

Кровь на кружеве

«Автор»
2026

ZaitsEva

Кровь на кружеве / ZaitsEva — «Автор», 2026

Анна Ковалёва — 38-летний военный хирург, прошедшая Чечню и Сирию. Она устала от бюрократии и потерь, но руки помнят своё: спасает там, где другие опустили руки. В доме умершей тётки Анна находит «Справочник по оперативной хирургии» 1913 года. Книга вспыхивает — и Анна приходит в себя в теле 16-летней Анны Голицыной, воспитанницы Саратовского пансиона. На дворе 1915 год. Российская империя другая: Александр II даровал Конституцию, на троне Александр III, идёт Первая мировая. Но медицина здесь на уровне хлороформа и «как-нибудь перевяжем». Анна не собирается быть послушной барышней. Один спасительный жгут — и о «странной воспитаннице» узнаёт земский хирург Петров. Дальше — больница, тайные операции, скандал, спасённый офицер и предложение уехать на фронт. «Кровь на кружеве» — первая книга серии «Шов на карте империи»: о женщине, которая привыкла спасать жизни, но теперь должна спасти и себя — в чужом теле и времени, где каждое вмешательство меняет историю.

© ZaitsEva, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Наследство 5
Конец ознакомительного фрагмента. 9

ZaitsEva
Кровь на кружеве

Глава 1

Наследство

Пыль стояла в воздухе косыми полосами — сентябрьское солнце, низкое и уже нежаркое, резало слуховое окно насквозь и ложилось на дощатый пол длинными бледными прямоугольниками. Анна поднималась по лестнице медленно, на каждой третьей ступени перила скрипели по-разному, и в этом было что-то почти музыкальное — дом настраивал её на свой лад, как настраивают расстроенный инструмент, не торопясь, давая привыкнуть.

Она не хотела сюда ехать. Три раза сбрасывала письмо нотариуса, пока четвёртый не заставил открыть — и то только потому, что пришло оно в два часа ночи, в ординаторской, когда Катя спала на соседней койке под капельницей, а сама Анна держала в руках чужую селезёнку и думала о том, что третий раз за месяц — это уже не совпадение, это система, и система эта работает против неё.

Тётка Вера умерла в январе. Анна узнала об этом в марте — из того же письма, сухим канцелярским столбцом: исключено из реестра, наследственное дело открыто, явиться в течение шести месяцев, иначе. Под "иначе" подразумевалась, видимо, какая-то необратимость, но Анна к необратимостям привыкла. У необратимостей был запах — йод, латекс, остывающая под лампой кожа. Письмо пахло бумагой. Это было почти смешно.

Саратов встретил её мокрым снегом и вокзалом, который она помнила с восьми лет — широким, облупленным, с колоннами цвета запёкшейся крови. Тогда они приезжали сюда с матерью каждое лето, и мать говорила: "Вера — это наша стена", и маленькая Анна представляла стену — кирпичную, глухую, до самого неба, и тётку за ней, высокую, с руками в муке, потому что Вера всегда что-то месила — тесто, глину, землю в палисаднике. Стена оказалась обычным домом на Астраханской, с покосившимся крыльцом и вишней у забора, которую никто не подрезал двадцать лет.

Ключ заел в замке. Анна повернула его с усилием, плечом толкнула дверь — и вошла в запах, который не истончился за девять месяцев пустоты: сухая трава, старая бумага, чуть-чуть камфоры. Так пахло из шкафа, когда мать открывала его проветрить. Так пахло от Вериных рук, когда она гладила Анну по голове — в последний раз это было за три дня до того, как Анна уехала поступать в Саратов, а потом в Москву, а потом в Ростов, а потом туда, где у запаха больше не было названия, потому что названия дают живым.

Она сняла куртку, повесила на гвоздь у двери — гвоздь сам нашёлся, будто ждал. Прошла кухней, не зажигая света, коснулась ладонью холодного бока печи. В дальней комнате стояла кровать с подзором, на стуле — сложенное платье, в вороте которого торчал напёрсток. Вера шила до последнего дня. Это Анна знала от матери — шила, сидя у окна, и умерла с иглой в руке, и соседка нашла её только на четвёртый день, потому что Вера не любила, когда к ней ходят, и люди привыкли.

Анна не плакала. Она вообще разучилась плакать где-то между третьей и пятой командировкой — не потому, что стало нечем, а потому, что слёзы мешали шить. А шить надо было быстро. Всегда быстро. Всегда на время, на счёт, на звук — когда звук дыхания меняется, ты уже опоздал.

Она и сейчас поймала себя на том, что считает. Ступени — семь. Окна — три. Платья на вешалке — четыре, все тёмные, все одного размера. Чужая привычка, въевшаяся в руки: считать, чтобы не думать. Думать было нельзя. Стоило начать — и возвращался звук, который она возила с собой в нагрудном кармане: не крик даже, а короткий выдох, с каким человек отпускает то, что держал слишком долго. Лёша выдохнул так в вертолёте, когда его перекладывали на носилки, и Анна сначала не поняла, что это последнее, потому что выдох был ровный, почти спокойный, как будто он наконец лёг удобно.

Она тряхнула головой. Прошла к лестнице на чердак.

Лестница была крутая, из трёх секций, обитая войлоком по краю — чтобы не греметь. Вера думала о тех, кто будет ходить наверху. О мыши в стене, о голубях в трубе, о племяннице, которая приедет через двадцать лет и будет держаться за перила, считая ступени. Анна узнала войлок — ощупью, не глядя. В детстве она сидела на этой лестнице часами, поджав ноги, и ела вишню из эмалированной миски, а Вера рассказывала ей про травник, который держала в сундуке, — как останавливать кровь подорожником, как вправлять вывих, как заговаривать зубную боль берёзовым углём. "Всё по-настоящему, Анечка. Не сказки. Просто люди разучились слушать, вот и думают, что сказки". Анна тогда кивала и глотала косточки.

Чердак открылся не сразу. Люк заело так же, как дверь внизу, — будто дом проверял, хватит ли у неё терпения. Хватило. Она надавила плечом, дерево охнуло, отошло, и снизу дохнуло сухим жаром — нагретой за день крышей, старой стружкой, чем-то сладковатым, похожим на высушенную мяту.

Она влезла по пояс, потом целиком, и встала, разогнулась, стукнувшись макушкой о балку. Потерла голову. Огляделась.

Чердак был большой и неправильный — не склад, а комната, в которой просто перестали убирать. Вдоль стены — сундуки с откинутыми крышками, из одного свисало кружево, пожелтевшее у шва. Детские салазки, перевязанные верёвкой. Чучело грача на подставке — одно крыло обломано, глаз бусинный, живой, блестящий. Зеркало в раме, замотанное в простыню, и простыня в жёлтых пятнах, как от давних дождей. И в углу, на столе у слухового окна, — книга.

Анна увидела её раньше, чем остальное. Вернее, так: остальное она увидела, как фон, как шум, как вещи, которые умерли раньше хозяйки. А книга была отдельно. Тёмный корешок, кожа, стянутая двумя ремешками медной пряжкой, обрез не позолоченный — просто неровный, с выступающими краями листов, и на нём — свет. Не падающий из окна. Свой.

Она подошла. Не потому, что хотела. Потому что стол стоял на пути к слуховому окну, а ей надо было к окну — проверить раму, почему-то это казалось важным, проверить, не течёт ли, не сгнило ли дерево за зиму. Но ноги принесли её к столу и остановились, и руки уже лежали на крышке, и ремешок был расстёгнут — хотя она не помнила, чтобы расстёгивала.

"Справочник по оперативной хирургии". Титул, тиснёный, без красок — слепое тиснение, которое читается пальцами раньше, чем глазами. Год — 1913. Место — Санкт-Петербург, типография "Вильде", у Аничкова моста. Автор не указан. Не то чтобы безымянный — просто имя было вписано от руки, чернилами, на форзаце, твёрдым крупным почерком с наклоном влево: *Вера Павловна Соболева. Саратовъ, лѣто 1914.*

Анна прочла вслух. Не потому, что так надо — просто в чердачной тишине собственный голос оказался единственным, что не стояло на месте. Фамилия была её. Не тёткина — тётка была Вера Николаевна Ковалёва, по мужу. Соболева — девичья, материнская, та, которую Анна носила до замужества и которую забрала обратно после развода, а потом возила в нагрудном кармане вместе со всем остальным, что нельзя было оставить лежать. Её фамилия. На книге, изданной за восемьдесят лет до её рождения. Вписанная рукой, которая не могла этого сделать — потому что Вера Соболева умерла в четырнадцатом году, в холерный год, не дожив до двадцати пяти; Анна знала это от матери, знала так же точно, как то, что вишню у забора посадила именно она, Вера, в то лето, когда уехала в Петербург учиться на врача.

Женщины в четырнадцатом году на медицинский не поступали. Не то чтобы запрещено — просто не поступали. Мать говорила: "Веру не взяли, и она вернулась, и шила до конца". А книга — вот она, тёплая. Не от солнца. От руки — Анна отдёрнула ладонь и посмотрела: кожа обложки была температуры живого тела, как у спящего, к которому прикладываешь пальцы проверить дыхание.

Она не верила в это. Это было первое, что она подумала, и второе было то же самое, и третье — тоже, а на четвёртом разе руки уже листали.

Бумага держала вес. Не её вес — собственный: листы ложились тяжело, с шорохом, какой бывает у бумаги, которую не открывали очень давно, но не пересохшей, не ломкой. Наоборот. Края были мягкие, как будто кто-то гнул их совсем недавно, сегодня утром, за этим же столом. Чернила на полях — того же наклона влево, того же твёрдого почерка: пометки не типографские, рукописные, между строк и поперёк. "Не рѣзать поперёкъ волоконъ — рука не удержитъ". "Жгутъ накладывается выше, не туже пальца — иначе кость". Цифры, крестики, маленькие рисунки — сосуд, стрелка, рука с иглой. Рисунки были точнее, чем в атласе, по которому Анна сдавала экзамен на четвёртом курсе. Точнее и — она поймала себя на этом слове и остановилась — *правильнее*. Как будто рисовали не то, что видно, а то, что будет видно, если разрезать.

Она дошла до раздела о полевой хирургии.

Заголовок был типографский, с виньеткой — два скрещённых ланцета, перевитых лентой. Под ним — чистые две трети страницы, а ниже, в самом низу, мелко, тем же почерком, одной строкой через всю ширину: *"Приготовься. Свѣтъ будетъ не сразу, а когда привыкнешь — поздно."*

Анна хотела закрыть книгу.

Она была в этом уверена — потом, когда прокручивала назад, раз за разом, как прокручивают последний снимок перед тем, как экран гаснет: она хотела закрыть. Пальцы уже согнулись на обложке, суставы побелели, и дыхание она перевела — коротко, носом, как переводят перед тем, как взять зажим. И не закрыла.

Потому что внизу страницы, под той строкой, проступило ещё одно слово. Его не было. Она смотрела на страницу четыре секунды — считала, раз-два-три-четыре, — и на четвёртой секунде слово было, хотя на первой его не было. Чернила свежие, тёмные, влажные у хвоста буквы "р", как будто рука только что оторвалась. Без наклона, без нажима — её собственный почерк. Таким она писала в операционном журнале, когда уставала: "Кровопотеря 900. Гемостатик не держит. Иду на прямое прошивание. А.К."

Только теперь там стояло: *"Не читай дальше, Аня."*

Она прочла дальше.

Не потому, что смелая. Потому что двадцать три года её учили одному: если открыл — смотри до дна. Не отворачивайся от раны, пока не увидишь её края. Отвернёшься — истечёт. Опоздаешь. Не успеешь к тому короткому выдоху, после которого считать некого.

Свет пошёл не из книги. Из неё.

Так она поняла потом — по тому, как тени от балок легли в другую сторону, как простыня на зеркале стала не белой, а чёрной на просвет, как грач на подставке повернул голову. Свечение поднималось из бумаги медленно, как поднимается из раны то, чему не положено подниматься, — тёплое, ровное, без вспышки, без жара. Заполнило впадину между ключиц, легло под язык, стало вкусом — железом, солью, йодом, всем сразу, тем самым запахом необратимости, у которого нет названия, потому что названия дают живым.

Страницы пошли быстрее. Она не листала — они листались сами, с шорохом, в такт, и в такт же стучало под ложечкой — раз, два, три, раз, два, три, как стучит тележное колесо на стыке досок, как стучит носилки по полу вертолёта, как стучит чужое сердце в ладони, когда его кладут тебе в руку и говорят: держи, не отпускай, пока шьём.

Она держала.

Раздел о полевой хирургии раскрылся на середине — не на том месте, где был заложен, а на том, где ей было нужно, и это было самое страшное из всего, потому что страшнее неведомого — только ведомое, пришедшее не вовремя. Текст был не про четырнадцатый год. Про осколочные ранения бедра, про жгут выше, не туже пальца — тем самым крестиком на полях. Про входное отверстие меньше выходного. Про то, что делать с кишкой, когда она в пыли. Про то, как шить, когда игла не идёт, а время идёт, и звук дыхания меняется, и ты слышишь, как оно меняется, и считаешь — раз, два, три, — и на третий счёт понимаешь, что считаешь уже не его дыхание, а своё.

Свет стал плотным. Не ярким — плотным, как масло на воде, как латекс на пальцах, когда снимаешь перчатку не за край, а за ладонь, и она тянется, и не рвётся, и всё тянется, а под ней — рука, твоя, тёплая, живая, и ты видишь её насквозь.

Анна увидела свою руку насквозь.

Кости — тёмные, ровно в тех местах, где им положено быть. Сухожилия — светлые нити, натянутые от запястья к пальцам, и пальцы — мизинец, безымянный, средний, указательный — согнуты на обложке, суставы белые. Она видела, как кровь идёт по лучевой артерии, как вена на тыле кисти наполняется и опадает, наполняется и опадает — в такт, раз, два, три. Видела иглу в своей руке. Не ту, из ящика стола, — другую, изогнутую, с нитью, тёмной у ушка, и рука шла сама, без неё, опускалась к странице, и нить ложилась в строку, в ту самую строку, которую она не дочитала, — и поднималась, и снова опускалась, и каждый стежок был словом, и каждое слово было стежком, и она шила — не по бумаге, по живому, по тому, что лежало под бумагой и дышало, и это было не её дыхание, она слышала разницу, она всегда слышала разницу, — и всё равно шила, потому что игла шла, а время шло, а звук менялся, и считать было некого, кроме себя.

Где-то — далеко, внизу, на кухне, у холодного бока печи, у гвоздя, который ждал куртку, — зазвонил телефон. Её. Три гудка, пауза, три гудка. Так звонит только Катя. Так звонит только тот, кто знает, что мать не берёт трубку, но всё равно звонит — не чтобы ответили, а чтобы знать, где она лежит, когда перестанет.

Анна хотела сказать "алло".

Рот был полон света.

Тогда пришла последняя мысль — не её, вернее, её, но той её, которая осталась на нижней ступени и считала перила, раз-два-три, и не пошла наверх. Мысль была простая, короткая, без запятых, как пишут в операционном журнале, когда устают:

Только не это. Я даже не попрощалась.

Свет принял её, как принимает вода — без вспышки, без звука, без выдоха. Просто в чердачной пыли, в косых полосах сентябрьского солнца, стало на одну тень меньше. Книга на столе у слухового окна закрылась сама — мягко, как закрывают веко спящему, чтобы проверить: не дрогнет ли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.